

Михаил БАРУ

*Михаил Бару родился в 1958 году в Киеве. Окончил Российский химико-технологический университет в Москве. Химик и инженер, кандидат технических наук. Стихи и проза публиковались в журналах «Арион», «Знамя» и др. В «Волге» публикуется с 1999 года. Автор нескольких книг стихов и прозы. Составитель первой российской антологии хайку и трехстиший «Сквозь тишину» (2006). Живет в Москве.*

## НЕВИДИМЫЙ ЗИНЗИВЕР

### Дедушка Герасим Сергеевич

Храм литературы где-нибудь в пыльном и неухоженном райцентре. Не в виде библиотеки, а в виде храма. Приход маленький, почти нищий. Едва хватает на отопление и на масло для лампад перед книгами и портретами. Чаще всего приходят школьники перед сочинениями и экзаменами по литературе. На паперти местный поэт – полусумасшедший неопрятный старик с потрепанными книжками своих стихов, которые он норовит всучить каждому, проходящему мимо. Все его знают и потому уворачиваются. Незнакомого человека он еще может обмануть. Подойдет и скажет:

- Подайте на хлеб бедному поэту в честь праздника.
- Да какой же сегодня праздник? – спросит незнакомый человек.
- Сегодня, – ответит старик, – сто семьдесят два года три месяца и пять дней с того дня, как Николай Васильевич закончил писать шестую главу «Мертвых душ».

И тотчас же начнет читать нараспев: «Зелеными облаками и неправильными трепетоллиственными куполами лежали на небесном горизонте соединенные вершины...» Незнакомый человек даст ему по глупости десятку или две – так старик потом и не отвяжется, достанет свои книжки и станет предлагать их даром, будет совать их ему в карманы и читать свои стихи, от которых уши вянут.

Настоятельница храма – сухая, любящая заламывать руки дама очень средних лет в очках с большими диоптриями. Пальцы у нее унизаны серебряными кольцами, и на груди висит ладанка с портретом Льва Толстого. В свое время она окончила Литературный институт и даже собиралась принять постриг в Пушкинском доме, чтобы на всю жизнь отдаться комментариям к «Слову о полку Игореве», но не сложилось – кому-то из знакомых она сдуру призналась, что любит стихи то ли Асадова, то ли Евтушенко, то ли того и другого вместе. И пошло и поехало... Короче говоря, рада была уехать в этот медвежий угол настоятельницей. Служб в храме немного, прихожане на храм жертвуют неохотно, а все норовят принести вместо денег старые, ненужные им книги и портреты писателей, вырезанные и журнала «Огонек». Школьники из мелочи, которую им дают родители, купят свечку-другую или листок с молитвой пушкинских старцев. Какой от этого доход... У одной из парных кружек, тех самых, из которых пьют с горя, облупилась почти вся эмаль на портрете Арины Родионовны, а на замену денег нет и неизвестно когда будут. Потому и ходит настоятельница по домам служить требы – то пригласят её почитать помирающей старухе рассказ «О любви» или стихи «В шумном платье муаровом...», то заговорить на отличную оценку сочинение двоечника, написанное его мамашей, то изгонять бесов из одержимого Достоевским, а то читать всю ночь спящей женщине на сносях стихи Пушкина и Лермонтова, чтобы ребенок родился... Однажды, воспользовавшись тем, что она плохо видит, а в сумерках и вовсе слепая, положили перед ней собаку, завернутую в одеяло. Та лежала, лежала, да как гавкнет в тот самый момент,

когда «и пусть она вас больше не тревожит...». Насилу ее потом отпоили калгановой настойкой. Не собаку, конечно, а настоятельницу.

В самом храме пусто, пыльно и сладко пахнет старыми книгами. Только в тургеневском приделе девочка лет десяти вымаливает у портрета Ивана Сергеевича щенка или котенка, прижимая к груди тонкое и ветхое, еще советское издание «Муму». Девочка молится горячо, голос ее дрожит, она путает слова и называет писателя милым дедушкой Герасимом Сергеевичем, а щенка Каштанкой. Наконец она заканчивает молиться, привстает на цыпочки, прикладывает к руке Тургенева на портрете и уходит. То место, на котором она стояла, завлакивается сонной тишиной, а Пушкин на иконе тропининского письма начинает зевать и барабанить пальцами по столу.

\*\*\*

А если бы Горький не вернулся? Кого тогда назначили бы вместо него главным пролетарским писателем? Кто тогда организовал бы и возглавил писательский съезд? Маяковский к тому времени застрелился. Да и какой из поэта организатор. Все равно что Пастернаку велеть организовать съезд. Такого нагородил бы... Он даже самых обычных строевых команд не знал. Фадеев с Фединым... еще нет. Серафимович уже был стар, хотя и не суперстар ни разу. Шолохов? Этот все пропил бы. Бабель не подошел бы – еврей. И вообще не подошел бы. Слишком талантлив и слишком себе на уме. Толстой всем хорош, но классово чужд. А уж он все исполнил бы в лучшем виде. И списочек составил бы из пяти гениальных писателей и сорока пяти талантливых. И за то, чтобы попасть в этот список или хотя бы в дополнения к этому списку, писатели Толстому... Нет, тут нужен писатель из народа, с прошлыми литературными заслугами, которому этих заслуг мало, а новые литературные заслуги уже... А Максимыч остался бы на Капри вместе со своей Лисой Патрикеевной Будберг. Выращивал бы цветную капусту. Лечился бы кьянти. Может, ему и Нобелевская премия обломилась бы вместо Бунина или вместо Шолохова. Интересно, что сказал бы по этому поводу Набоков... Дотянул бы бывший пролетарский писатель до антибиотиков. Мы бы его пьесы в самиздате читали. Диссидентская молодежь сделала бы «Песню о буреви́стнике» своим гимном. Барды положили бы ее на музыку, и мы пели бы «Песню» на кухнях, между винегретом и жареной уткой, а на словах «Пусть сильнее грянет буря!» соседи сверху стучали бы нам по батарее. Ну, а Товстоногову за постановку «Мещан» вместо Государственной премии вкатили бы строгача по партийной линии. Припомнили бы постановку «Варваров» («вы, товарищ Товстоногов, тогда не просто оступились – вы пошли по кривой дорожке, и я, как секретарь партийной организации нашего театра, носящего славное имя Сергея Мироновича Кирова<sup>1</sup>, не имею права молчать...») и по совокупности, путем поглощения более строгим менее строгим... Отменили бы очередные гастроли БДТ в Польшу или даже в Японию. Пришлось бы срочно ставить «Сталеваров» или «Любовь Яровую», чтобы как-то замолить грех. Лебедев наверняка впал бы в депрессию. Актеры очень тонкие и чувствительные натуры – для них впасть в депрессию – все равно что обычному человеку чаю пойти выпить или повеситься.

\*\*\*

А если бы была у нас по-настоящему культурная страна, то все писатели ценились бы так же, как футболисты или хоккеисты. Сидишь ты себе в какой-нибудь Тамбовской губернии в каком-нибудь Моршанске или Мичуринске и пишешь за районный писательский клуб «Лорх» или «Синеглазка». Пишешь, пишешь... и вдруг раз! Тебя перекупает Костромская или даже Московская область. Глянулся ты секретарю их областного писательского клуба на чемпионате России по писательскому троеборью.

---

<sup>1</sup> Не Горького же. Имени Горького он был только два года – с тридцать второго до тридцать четвертого года. В тридцать четвертом его переименовали. Лавренев, хотя виду и не подал, но обиделся страшно. Он-то надеялся...

Сулят тебе трехразовое или питание, рюмку водки перед каждым обедом, бутылку по выходным и каждый год путевку в областной дом творчества. Правда, без семьи, но ты с удовольствием потерпишь. И вот ты уже пишешь за областной клуб, ездешь на ежеквартальные сборы в специальный подмосковный санаторий, занимаешься, не щадя сил, с подающей надежды писательской молодежью, ставишь ей руку, трогаешь за коленку, закручиваешь сюжеты и распрямляешь криво написанные предложения. Конечно, могут быть накладки. Был ты почвенником, патриотом до мозга костей, а приобрели тебя, к примеру, либералы. Вот и пиши теперь... Вот и выкручивайся. Зачеркивай везде в тексте православные крестики и рисуй масонские треугольники с глазами, не говоря о шестиконечных звездах. Можно, конечно, поменять гражданство и писать за какую-нибудь литературно не очень развитую, но богатую страну или бедную, но очень гордую, которой надо непременно быть в чем-нибудь первой. Хотя бы в литературе. Впрочем, для этого и гражданство менять не надо. Эх, мечты, мечты... Отчего вы такие глупые...

\*\*\*

Ночью не спалось. Лежал и придумывал вицмундиры для писателей, редакторов и литературных критиков. Представлялись мне гусиные перья в писательских петлицах – у писателей районного масштаба из белой некрашеной пластмассы, у областного – анодированные под серебро, а у признанных классиков и лауреатов всероссийского масштаба настоящие золотые на малиновом бархате. На рукаве нашивки за романы, повести или за вышедшие книги. Если ты поэт и написал гениальное стихотворение, то вот тебе крошечный красный значок в виде разорванной аорты – похожий на капельку крови на булавке, которую выдают донорам. Три таких значка и ты уже как георгиевский кавалер среди поэтов. Три таких значка – и тебя уже ненавидят все поэты. Впрочем, никто тебе и не даст трех значков. И одного не дадут. Это надо, чтобы вся комиссия по присвоению этих значков, включая представителей минкульта, минобраза и комитета Госдумы по гениальным стихотворениям... Да они между собой... и тебе тоже достанется так, что мало не покажется. Ну и ладно. Не больно-то и хотелось. Вернемся к вицмундиру. К нему нужна фуражка, а на фуражке должна быть кокарда с выпуклой штампованной шинелью, из которой мы все вышли. У издателей вместо перьев в петлицах ножницы и бархат не малиновый, а зеленый. И у каждого вышит на погонах логотип журнала, в котором они служат. У редакторов толстых литературных журналов должен быть какой-то значок или вышитый вензель, означающий, что они... вроде лейб-гвардии. Их за эти вензеля редакторы всех остальных, обычных журналов, будут недолюбливать. И это мягко говоря. У критиков... про вицмундир критиков я почти ничего не успел придумать потому, что заснул. Помню только, что бархат у них на петлицах черный, на бархате скрещенные злые языки и пистолеты, а к седлам приторочены метлы и собачьи головы писателей.

\*\*\*

Сейчас-то любители бумажных книг хорохорятся, рассказывают про удивительный, ни с чем не сравнимый запах старых книг, про тисненые золотом кожаные переплеты и все такое. Вот уже скоро станут делать тисненые золотом кожаные переплеты для планшетов и букридеров. И пахнуть они будут в точности как старые книги – смесью бензойного альдегида, ванилина, этилгексанола, толуола и этилбензола. Химики уже все выяснили и всем рассказали. Будут электронные книги с запахом старых книг, а для тех, кому нравится запах новых – будут с запахом клея, типографской краски и еще чего-нибудь по желанию заказчика. Например, духов, свежевывловленной корюшки или односолодового виски. А еще и и звуки... Читаешь ты про Гримпенскую трясины – и у тебя в наушниках тихий, леденящий душу вой. Убийство в Восточном экспрессе будет сопровождать стук колес. Прогулку Анны Сергеевны и Гурова по набережной Ялты –

заливистый лай шпица. Или взять стихи. И море Черное витийствуя шумит... По старинке-то надо раковину к уху прикладывать, а тут тебе и шум волн, и свист ветра, и скрип гнущейся мачты, и даже крики чаек. Или в том месте, где у Толстого «свеча, при которой она читала исполненную тревог, обманов, горя и зла книгу, вспыхнула более ярким, чем когда-нибудь, светом, осветила ей все то, что прежде было во мраке, затрещала, стала меркнуть и навсегда потухла». за экраном вспыхнет свет и все погаснет секунд на пять или десять. Пошлость, конечно, несусветная, но чувствительным дамам и девицам будет нравиться, и они даже незаметно поднесут носовой платок к уголку глаза, если им случится читать в метро. Любовные и эротические романы... придется слушать в наушниках. Расцветет новое искусство иллюстрирования. Конечно, будут и те, кто из принципа будет читать только бумажные книги. Эти будут ходить в подпольные библиотеки и там, среди таких же сектантов, как они сами... Не знаю, что мы там будем делать – может, гладить обложки, может, нюхать их, говоря, что вот этот запах настоящий, а не какая-нибудь дешевая химическая смесь, от которой за версту несет освежителем воздуха, а может, просто станем выпивать и закусывать, вспоминая... да хотя бы очередь на Дрюона, которого давали по талонам за сданную макулатуру.

\*\*\*

Одной только фразе Шолом Алейхема «И в беде нужна удача» я бы поставил памятник, а вокруг него разбил бы парк, в парке расставил бы ларьки с мороженым, фруктовыми водами, цветами, семечками, пончиками, французскими духами в розлив и блестящими воздушными шариками в виде сердечек на палочках, в тенистых аллеях расселил бы соловьев, в укромных местах расставил бы скамеечки и беседки, на скамеечки рассадил бы влюбленных – тех, которые уже целую неделю встречаются, еще «дальше локтя не пошли или колена», но уже жить друг без друга не могут и беспрестанно говорят друг дружке о том, как им повезло, что они встретились, что могли бы пройти мимо и не заметить, а не прошли, а могли бы и уже почти прошли, но вдруг точно молния, и это не просто везение, не просто удача, а...

\*\*\*

Задумался о родине. Ну, хорошо, о Родине. Родился я в Киеве. Прожил там первые три месяца, и увезли меня в Серпухов к месту работы родителей. Нет, Киев мне не Родина. Даже с учетом того, что я приезжал туда на каникулы к бабушке. И Серпухов не Родина. Я там прожил до шестнадцати лет. Не скучаю я по Серпухову и не хочу туда вернуться. Того Серпухова все равно уже нет. По детству скучаю, но детство не Родина и в него не вернешься. Потом шесть лет учебы в Москве, потом четверть века в Пушкино-на-Оке, потом Сан-Диего, потом снова Москва... Спроси меня сейчас, где моя Родина... Где мне лучше всего? Если честно, то лучше всего я себя чувствую в рассказах Чехова. Мне туда хочется возвращаться. Если бы в паспорте можно было записать в графе гражданство «Рассказы Чехова» – я бы записал не колеблясь. Я не сразу в них поселился. В детстве я жил в Древнем Риме. Там была моя настоящая Родина. Ходил в серпуховскую среднюю школу, бегал во дворе с друзьями, но был в Риме вместе с братьями Гракхами, Марком Юнием Брутом, Суллой и Цезарем. Каждый день мечтал об эмиграции в Вечный город. Как только засну – так сразу на Форум – защищать братьев от сенаторов. Потом на несколько лет уехал в «Трех мушкетеров». Когда учился в Москве... нигде не жил. Скитался по разным книжкам. Лет пять прожил в толстенном американском учебнике по органической химии. Неплохо, кстати, жил. Думал, так и останусь там навсегда, но... в один прекрасный день собрался с мыслями – короткими, длинными и даже теми, которые закручены против часовой стрелки, – и ушел жить в «Мертвые души», в «Левшу» и в «Очарованного странника». Хотя уже тогда я начал понимать, что ружья мы чистили, чистим и будем чистить кирпичом, но... все равно ушел. Если бы тогда менял паспорт, то взял бы двойное гражданство – «Левши» и... нет, тройное. Еще «Мертвых душ» и

«Повестей Белкина». Ну, а в сорок пять, когда меняют в последний раз, то уж осел бы в рассказах Чехова навсегда. Есть, конечно, еще Набоков, но он не для того, чтобы поселиться в нем навечно. Он что-то вроде облаков. Вот ты живешь себе, живешь в рассказах Чехова и время от времени задираешь голову вверх, а там по небу плывут облака. Вот они и есть Набоков. Любоваться, но не жить. Впрочем, Набоков вполне уместен как штамп пограничного контроля в паспорте. Да, бывал. Неоднократно. Даже дачу там завел для летнего отдыха, но постоянно живу здесь – в рассказах Чехова. Есть еще дом в повестях Паустовского, доставшийся от родителей, но там бываю, увы, редко, наездами.

И вот еще что. Я совершенно не патриот рассказов Чехова – я их просто люблю, но не стану рвать на груди рубаху, доказывая, что жить надо только в них, а тех, кто свалил в какую-нибудь сказку братьев Гримм или роман Джерома...

### **Невидимый зинзивер**

Хуже первого января только второе и третье, когда на дворе оттепель, когда оливы мертвы, а ты еще нет. Вот тогда хорошо одеться потеплее, взять с собой освиневшую от переедания собаку и уйти с ней в поле. Идти, с трудом вытаскивая из оттаявшей рыжей глины ноги, смотреть на серое беспросветное небо и думать какую-нибудь короткую, заплывшую копченым салом мысль. Вернуться, так и не проголодавшись, домой, пойти на кухню, положить себе на тарелку оливы из большой миски, на дне которой уже появилась крошечная лужица воды с отвратительными белыми майонезными разводами, выудить из селедки под шубой и незаметно для себя съесть случайно упавшие в нее два кружка сырокопченой колбасы, выскрести из банки засохшие остатки красной икры, намазать ее на черствый кусок хлеба, налить рюмку водки, выпить ее и понять, что жизнь ужралась.

\*\*\*

Старый год давно кончился, а новый еще и не думал начинаться. С самого утра сумерки. В окне ничего нет, кроме серого тумана, в котором собака слоняется по двору и обнюхивает бесчисленные кротовые кучки. Сидишь в кресле у окна, рядом, на подставленном стуле, две горки – одна из уже начавших подсыхать мандариновых шкурок, а вторая из шелухи от тыквенных семечек. Сегодня кончился винегрет, но холодец... И как самому себе объяснить – зачем ты обедал? Зачем ел первое, второе, третье, половинку четвертого и пил чай с шоколадными конфетами? Ведь ты же сыт с позавчерашнего дня. Телевизор смотреть стыдно, да и нет там ничего. Ты уже посмотрел. Сидишь и держишь в руках раскрытый том Набокова. Читать его нет ни сил ни желания. Держишь просто как оберег. Так с ним и заснешь. Перед тем как заснуть с чистой совестью, его надо хотя бы открыть, не говоря о том, чтобы прочесть несколько первых предложений, Хорошо, что нет снега и нет этих дурацких мыслей о том, что мог бы на лыжах пять километров до леса и обратно...

\*\*\*

Не просыпаясь откроешь глаза, а на дворе солнце, мороз и намело до подоконника. Снег сверкает, часы на стене тихонько тикают, в печке гудит и потрескивает, снегирь на ветке ольхи краснеет. Лежишь, жмуришься, а снег сверкает, в печке гудит и потрескивает, часы тихонько тикают, под одеялом тепло, снег тихонько тикает, снегирь сверкает, часы гудят и потрескивают, под снегом тепло, печка краснеет, снегирь гудит, одеяло потрескивает, снегирь тихонько тикает, тикает... и вдруг как крикнет:

– Сколько можно спать! Яичница глаза проглядела – все тебя высматривает!

\*\*\*

Снег пошел с вечера, а к утру уже валил и сегодняшней и тот, что не успел выпасть вчера. В поле никого, ветер воет, никакой лыжни нет, и приходится, с трудом переставляя лыжи, идти по целине. Собака просит тебя быть человеком и вернуться домой, над тобой три слоя серых, ватных облаков, из которых сыплется и сыплется снег, а ты упорно идешь и идешь вперед, восхищаясь внутри себя собственной стойкостью.

Время от времени в прореху между облаками выглядывает бледное, еле желтое солнце и снова скрывается. Кажется, что сейчас облака раздвинутся и покажется солнце – но не наше желтое, уютное солнце величиной с пятирублевую монетку, а солнце далекого будущего – огромное, занимающее треть неба, красное и рыхлое, покрытое коростой черных и уже никогда не исчезающих пятен – то самое, которое называется красный гигант. Из-за леса будут торчать ржавые остовы опустевших небоскребов, а на том месте, где была наша деревня, будет каменистый берег холодного моря, и по нему будут бродить уже не элои с морлоками, а огромные неуклюжие крабы. Краб Пашка Анпилов будет пьян, и у него ноги за ноги будут заплетаться, а краб Серега Газманов будет его бить клешней по панцирю за то, что Сашка совершенно случайно, без какого-либо злого умысла, оплодотворил икру Райки Газмановой. Просто он шел по берегу и разбрасывал везде свои сперматофоры, а тут подвернулась Райка, вернее, упала под ноги и...

Десятки и сотни вылупившихся недавно маленьких, размером со спичечный коробок, крабов, как две капли воды похожих на Пашку, будут ползать по восьми ногам Сереги и пронзительно пищать «Папка не надо! Не надо, папка...» Краб Райка Газманова – огромная, раза в два больше, чем крабы Сашка<sup>2</sup> и Серега, ленивая самка с мелкими, белесыми шевелящимися усиками над верхней губой и вылезшими далеко на лоб мутными, в багровых прожилках глазами будет безучастно сидеть на куче мерзлого песка припорошенного снегом и бесконечно жевать осклизлые водоросли, выброшенные прибоем на берег. Ветер будет отгонять от берега льдины в ту сторону, где миллиард лет назад была автобусная остановка на дороге в райцентр, багровый солнечный свет будет заливать... Оглянешься назад – туда, где должна была быть деревня, и увидишь, что в белой пелене пропала и деревня, и толстые, в младенческих перетяжках, уютные дымы из труб, и большая красно-кирпичная Ильинская церковь, а только серый силуэт покосившегося креста на колокольне плывет сам собой в заснеженном пространстве и времени...

Погладишь собаку, подвывающую от страха перед гигантскими крабами, скажешь ей «Спи-спи. Все хорошо», сам перевернешься на другой бок, подоткнешь одеяло, и станешь пробиваться сквозь метель в деревню, держа курс на уплывающий от тебя крест.

\*\*\*

Если в начале февраля после обеда сесть у окна в кресло, зевнуть, побарабанить пальцами по его деревянной вытертой ручке, снова зевнуть и широко закрытыми глазами всмотреться в засыпанное снегом до неба поле, то можно увидеть, что тянется оно не до леса, как это было еще перед Новым годом, а до самого апреля. Ну, может, и не до апреля, но до середины марта точно.

\*\*\*

Во второй половине зимы наступает царство настоящего. Будущего, то есть весны со всеми ее тревоблениями, с первыми, еще бледными от зимнего авитаминоза, надеждами и напрасными хлопотами, нет совсем или оно съезживается до нескольких часов – до обеда, до конца книги или до дна чашки с чаем. От прошлого года остаются уже и не воспоминания, а какие-то обрывки от них – и не цветные, а выцветшие, почти

---

<sup>2</sup> Черт его разберет когда он Сашка, а когда Пашка. Это же краб. Сегодня он Сашка, а завтра или даже через час уже Пашка. У крабов нет раз и навсегда закрепленных имен. Слишком просто они для этого устроены.

черно-белые, как и сны, которые можно видеть даже днем. Сидишь себе у печки, обутый в старые растоптанные валенки на босу ногу, смотришь на валяющихся между оконными рамами мух, прикидываешь, сколько из них проснется весной, думаешь прибавлять к ним себя или... разную ерунду про мгновение, которое повторимо так, что хочется не то чтобы удавиться, но хотя бы намылить – или веревку или кому-нибудь шею.

\*\*\*

К вечеру облака становятся такого сиреневого цвета, какой бывает только у пылких фантазий, когда они от случайно открытой форточки вдруг остывают до комнатной температуры, а к ночи и вовсе подергиваются пеплом, который ворошишь, ворошишь, а под ним уже ни одного живого уголька, и потому идешь пить чай с английским кексом, кусочки которого макаешь в портвейн, а потом ни с того ни с сего наедаешься принесенной из погреба ледяной квашеной капустой с луком, клюквой и селедкой и понимаешь, что это только оттепель, а до весны еще одних метелей сто или даже двести километров, не говоря о сотнях пудов сосулек, и бабочка в дровяном сарае, которая днем шевелила крыльями, делала это во сне только потому, что ей приснился чижик, а вовсе не потому, что...

\*\*\*

Когда под самый конец зимы как повалит снег, как ударит тридцатиградусный мороз, как начнут от холода ломаться на розовые, малиновые и янтарные кусочки разной длины молодые весенние солнечные лучи, когда от звонкого теньканья синиц воздух станет еще ледянее, когда не приедет трактор расчищать дорогу, когда отключится электричество... вот тогда нужно занести в теплый дом снятый с машины аккумулятор, велеть жене налепитьпельменей, открыть поднятую из погреба банку с солеными рыжиками, достать из другой банки маленький маринованный огурчик, налить в рюмку перцовки, наколоть на вилку самый большой пельмень, умакнуть его в сметану, велеть жене подцепить маринованный огурчик на другую вилку и держать, пока не будет насчет него указаний, ей же велеть наколоть на третью вилку соленый рыжик, а на четвертую подцепить кусок селедки с луком, самому поднять полную рюмку, окинуть взором стол, жену с вилками, приказать собаке подобрать слюни и подумать то, что обычно думают в таких случаях мужики: «Этот народ непобедим, нас голыми женскими руками не возьмешь, нас просто так отсюда не выкуришь и не выпьешь, мы одними вилками кого хочешь...» И тут дадут электричество.

\*\*\*

Выйдешь во двор, а тени на снегу сиреневые, мягкие и пушистые, расплавленное жидкое солнце заливает сверкающие сугробы, синички безостановочно до онемения клювов клюют каменный шмат сала, чтобы не околеть от холода, сверлящий гул самолета не проделывает в небе аккуратный тоннель, как летом, а откалывает от него огромные ярко-синие ледяные глыбы и в стылom морозном воздухе так сильно пахнет уже прошедшей, но никак не проходящей зимой, что запаха весны не чует даже собака, выбежавшая погулять во двор и тут же вернувшаяся в будку.

\*\*\*

Собака спит чутко. Встанешь под утро подложить дров в остывшую печку, а она, хотя и лежит на веранде и видеть тебя не может, но постучит пару раз хвостом об пол. Мол, я сплю, но и во сне тебя люблю, не сомневайся. И снова в свой сон – ловить мышшь. Она ее который год ловит. У мыши уже и дети, и внуки, и правнуки, и праправнуки, уже и сама она умерла года два назад, объевшись в погребе квашеной капусты, а собака ее все ловит и во сне лапами сучит, догоняя. Для собаки кого-то ловить во сне – пусть мышшь, пусть бабочку, – все равно что для человека летать. Ловишь – значит растешь, хотя у тебя

уже и усы седые и хвост давно не пистолетом. Пока дрова разгораются, ты, сидя на низкой скамеечке перед печкой, берешь глагол «задумался» и буквами «у» удлиняешь его до существительного «раздумья». Получившиеся раздумья буквами «м» утяжеляешь до дум. Потом берешь одну из дум и десятком букв «м» превращаешь ее в удар колокола. Этим ударом собираешь овец и пересчитываешь их до тех пор, пока шум и гул в печной трубе не разбудит жену, которая встанет, задвинет заслонку и велит тебе идти спать в кровать.

\*\*\*

Иссиня-черный прозрачный и ледяной мартовский вечер. В полупустой закуской тепло и тихо. Сидишь, пьешь горячий чай из картонного стаканчика и грызешь черствый круассан, который в меню называется свежей выпечкой. За соседним столиком мужчина угощает женщину в лихо заломленном берете пельменями и водкой. В окно закуской видно ущербную и бледную, точно желток инкубаторского яйца, городскую луну, пустой позвякивающий трамвай, едущий в депо, дорожных рабочих в оранжевых жилетах, посыпающих снегом из тележки на колесах еще дымящуюся асфальтовую заплатку на мостовой, девушку на тротуаре, прижимающую к плечу головой телефон и разговаривающую по нему двумя руками, молодого человека рядом с ней, нетерпеливо встряхивающего соломенного цвета кудрями, битком набитый автобус, стоящий в пробке на перекрестке, женщину, сидящую у окна, собственное отражение и в нем пустоту, которая каждую весну образуется внутри тебя и ждет, чтобы ее чем-то заполнили. Раньше она заполнялась быстро – женским смехом, сухим вином, пломбиром в вафельных стаканчиках и походами в кино на последний сеанс, а теперь не заполняется даже коньяком. И от пломбира ноет запломбированный зуб, и от женского смеха может разболеться голова, и в кино на последнем сеансе можно заснуть и даже испугать соседей храпом, и... пустота все равно ждет, чтобы ее заполнили. Конечно, ближе к маю она чем-нибудь заполнится – трамвайным звоном, быстрыми взглядами, угол падения которых равен углу притяжения, чириканьем воробьев, свиными сардельками, в конце концов... Женщина за соседним столиком почти не ест, а все больше чирикает и хохочет. И хохочет. Водка у них в графине уже кончилась, а пустота внутри женщины, судя по всему, еще и не начинала заканчиваться<sup>3</sup>.

\*\*\*

Уже и по насту можно ходить не проваливаясь, уже и полевые мыши стали видеть весенние цветные сны вместо зимних черно-белых, уже и от зимних облаков остались одни тонкие сухие оболочки, которые ветер унес к лесу и там разорвал в клочья, уже и поползли по снегу какие-то бестелесные, похожие на соринку в глазу, черные мотыльки, уже и старую иву на берегу ручья укутала еле заметная глазу зеленая дымка, уже и рассаду болгарских перцев, стоящих на подоконнике под лампой дневного света пора пикировать, уже и соседские гуси гогочут так, точно они только что прилетели из теплых стран и готовы с голодухи съесть даже соседскую собаку, уже и сам сосед вывел из сарая в первый раз после зимы свой старый, плюющийся сизым дымом, надрывно кашляющий трактор, уже и жена соседа утром жадно глядела на дорогу, по которой вихрем промчался сверкающий черным лаком огромный внедорожник... а весны как не было – так и нет.

\*\*\*

---

<sup>3</sup> Правду говоря, это была грузинская закуская и вместо свиных сарделек там подавали хинкали и зеленый грузинский лимонад, но женщина, которую угощал мужчина, была в берете. И ела хинкали так, что у берета шевелился хвостик. И пила лимонад. И успевала при этом чирикать и хохотать. И хохотать. И это от обычного фруктового лимонада, а была бы вместо него водка... Если уж совсем начистоту, то я тоже не грыз черствый круассан. Вместо него был горячий хачапури по-мегрельски. Таким можно заполнить любую пустоту. Особенно, если прибавить к нему лобио, чанахи, кофе по-сухумски и эклер с ванильным кремом. Или два эклера. Ведь до мая еще половина марта и апрель. Кто знает, сколько они продлятся.



Сосулек уже нет. Кончились сосульки. Синиц тоже нет – они все, точно по команде, собрались и улетели домой, в лес. Под их кормушкой, на зернистом прозрачном снегу все усыпано толстым слоем шелухи от подсолнухов, которые они лузгали с воробьями всю зиму. Ветер сырой, и в воздухе... черт его знает, что в этом воздухе. Обычный весенний воздух, а между тем собака уже вынюхала весь, что во дворе, и теперь рвется за калитку. Кажется, забыл что-то важное сделать – то ли якорь поднять, то ли паруса... Да нет. Ничего вроде не забыл – таблетки от давления еще до завтрака принял, а остальные сейчас пойду принимать. Якорь... Где-то он валяется. Кажется, в огороде, в теплице. Пленку им прижимали к земле в позапрошлом году. Там и лежит, брошенный. Он уже и в землю почти весь врос. Его так просто не поднять – его выкапывать надо.

\*\*\*

Сидишь на кухне, пьешь чай с котлетой, картофельным пюре и соленым огурцом, смотришь в окно на полную весеннюю луну, застрявшую в паутине еще голых веток клена, и все усиливаешься сочинить про нее что-нибудь такое изящное, тонкое и японское, что-нибудь печальное о чувствах, которые ты давно оттринул, о пожелтевшем от времени письме, еле слышно пахнущим духами «Опиум», о застывших на ледяном ветру слезах... и тут за спиной как запахнет, как зашипит на сковородке лук... и слезы как оттают, как побегут...

\*\*\*

Вечереет. Гроза примчалась и умчалась, оборвав где-то провода между покосившимися старыми столбами. Во всей деревне пропадает электричество. Становится тихо и сильнее пахнет навозом. Овраг, по дну которого течет ручей, наполняется клубящимся молочным туманом – точно кто-то варит там кашу и она вот-вот убежит.

К соседям из города приехали гости. Через забор, представляющий собой сетку рабицу, увитую девичьим виноградом, видно, как они едят прямо у мангала шашлыки, курят и пьют вино из прозрачных пластиковых стаканов.

– Нет, и при Петре, и при Столыпине воровали, страшно воровали, но ведь были и реформы, был прогресс, а сейчас только... водку или коньяк. Сухого не пью никакого. Здоровье не позволяет. У меня даже от французского изжога, – говорит набитым ртом небольшого роста мужчина с большим животом, туго обтянутым канареечного цвета футболкой с портретом Чехова. Мужчина хочет подлить себе в стакан и оборачивается к облезлому деревянному столику, на котором стоит водка. Его футболка натягивается так, что у Чехова с носа сваливается пенсне.

По улице пастух гонит домой мокрых после дождя коров и баранов. Коровы, и особенно бараны, разбредаются. Пастух злится, щелкает кнутом и ругается с бараном, залезшим в наполненную дождевой водой канаву.

– Ты что, б... – дебил? – спрашивает у него пастух.

– Ме-е... – отвечает баран.

Туман переполнил овраг и теперь выливается на поле. К ужину будут щучьи котлеты. Жена добавляет в них укроп. Говорит, что с укропом интереснее. Добавить к ним сто пятьдесят зубровки – они и будут интереснее. Дай ей волю – и она во все добавит укроп – даже в скандалы. При Петре со Столыпиным, конечно, тоже был укроп, но были и... Провались они пропадом, эти реформы. В прошлом году деревенские взяли пастуха из каких-то средних азиатов. Ну, чтобы непьющий и работающий. По-русски ни слова. И матом тоже. Так скотина его не понимала совсем. Вот вам и реформы. Теперь опять свой – сутки через трое пьяный, скотина.

Снова начинается дождь. Сначала мелкий, а потом все сильнее и сильнее.

– Сережа, давай на веранду чай пить! – кричат у соседей. – Ленка торт привезла! Ореховый...

– Сейчас! – отвечает Сережа, – Только пенсне найду. Оно где-то здесь, в траве...

\*\*\*

Если взять июльский день и аккуратно разобрать его на части, то получится стайка дроздов, гомонящая на ветках старой ирги, выкопанный и оставленный сохнуть между грядками чеснок, собака, без спросу объевшая созревшие стручки гороха, бабочка павлиний глаз, залетевшая в форточку, красная смородина, уродившаяся на три года вперед, осоловелые от жары облака, третий день висящие над полем, самолет-кукурузник, который должен был еще позавчера прилететь на свой аэродром, но зависший над полем вместе с облаками, забытый на скамейке у пруда старый журнал, носовой платок с вышитыми на нем двумя васильками и муравей, заблудившийся в дремучих зарослях этих васильков. Если все это попытаться сложить обратно, то никакого июльского дня не получится, а получится лишь сожаление о том, что... Бог знает о чем это сожаление, но из всех сожалений на свете оно едва ли не самое сильное.

\*\*\*

Дождь кончился и по черному небу плывут белые косматые облака. Сверчки самозабвенно поют на луну, показавшуюся из-за туч. На абажуре настольной лампы сидит и сонно моргает замшевыми крыльями павлиний глаз, залетевший в открытое окно из сада. От прошептанного про себя стихотворения Верлена на губах приятная горчинка. Если фонарь на уличном столбе, заливающий мертвенным больничным светом весь сад, разбить к чертовой матери, а музыку, которую слушает сосед, затолкать ему в уши вместе с приемником, то получатся тихие летние сумерки, лиловые от цветущей и пахнущей медом маттиолы.

\*\*\*

Солнце, с трудом протиснувшись в щель между облаками, садится в ельник на другом берегу реки, превращая дорожку на воде из золотой в медную, из медной в оловянную, из оловянной в стальную и, наконец, в свинцовую. На разохшихся и кривых деревянных перилах старого дебаркадера висит забытая кем-то серая бахромчатая шаль с приколотой к ней брошкой в виде огромной, величиной с детский кулак, божьей коровки. Кто-то невидимый за углом дебаркадера женским голосом спрашивает: «Сережа, когда же вы, наконец, повзрослеете?» – и, не дождавшись ответа, смеется русалочьим смехом. По холодеющему, полному зябких мурашек воздуху медленно плывет выше слов и выше первых, еле видимых звезд серебряная паутина. Бабье лето в самом разгаре красных и желтых листьев, качающихся на приливной волне от моторной лодки, давно скрывшейся за поворотом реки.

\*\*\*

Дверь хлопнула, и ты опустел. Сидишь на кухне, барабанишь пальцами по столу, смотришь в окно на морозящий дождь, на мокрые желтые листья, и держишь за щекой чайную ложку, которой она ела клубничное варенье.

\*\*\*

Взять шуршание опавших листьев, просеять его от лая собак, выведенных на утреннюю прогулку, гортанных слов и междометий дворника, которыми он разговаривает сам с собой и с котом, возвращающимся неизвестно откуда домой, прибавить к шуршанию опавших листьев шорох беспросветного и бесконечного дождя, из которого тщательно выбраны трамвайные звонки и гудки автомобилей, тщательно все перемешать, туго набить этой смесью подушку, упасть на нее головой и... Такие длинные, цветные и сладкие сны взрослые сами почти никогда не смотрят – отдают детям. Правда, дети сны, даже сладкие, редко досматривают до конца – или их родители разбудят, или они сами ни

свет ни заря проснутся, чтобы разбудить родителей. Уже просмотренная часть сна представляет собой одну оболочку – сухую прозрачную и, если потереться о нее щекой, шелестящую. Бывает так, что недосмотренные или даже ни разу не смотренные сны утаскивают в свои норы мыши. Их хлебом не корми – дай погрызть цветное и сладкое. Впрочем, сразу такие сны они не едят, а запасают на зиму, на новогодние праздники и подают к столу на десерт после танцев.

\*\*\*

Поздней осенью бросить все и поехать куда-нибудь по раскисшей от дождей грунтовке, остановиться перед большой и глубокой, точно море, лужей, вылезти из машины и идти куда глаза глядят под мелким, почти невидимым в сумерках дождем, по заросшему черным высохшим репейником, поседевшим иван-чаем и торчащими в разные стороны пьяными телеграфными столбами поля, остановиться у последнего, лежащего в мокрой траве, сесть на него, достать из кармана зеленое яблоко, отряхнуть его от табачных крошек, потереть о рукав старой куртки, укусить, скривиться от кислоты, тоски, холода, сырости, серости сумерек, одиночества, сплунуть, закурить и спросить себя: «Ну, почему, почему хорошо здесь, а не где-нибудь в городе, среди ярких разноцветных огней, почему в поле, а не в теплом кафе с большой кружкой глинтвейна, почему вообще в холодной бескрайней стране, а не в маленькой солнечной у голубого и теплого моря, почему...» Откуда же я знаю почему. У врачей об этом не спросишь, а если и спросишь, то ничего они сразу не скажут – заставят сдать кучу анализов, сделать томограмму, будут прислонять к груди стетоскоп, выстукивать пальцами, а потом велят гулять перед сном, не нервничать, а самые понимающие посоветуют перед сном принимать по пятьдесят граммов коньяку.

\*\*\*

Ветер утих. Только чуть шевелятся застрявшие в ветках молодой ольхи рыжие сосновые иголки, только десяток полупрозрачных мотыльков летает и летает внутри закатного медно-красного луча, только где-то высоко-высоко в холодном бледно-голубом мраморном небе печально и пронзительно звенит и звенит невидимый крошечный зинзивер, трепеща золотисто-зелеными крылышками, только внутри что-то хочет и никак не может горько, безутешно, по-детски запла... Нет, не заплакать. Хочет водки и пельменей. Таких маленьких, которых во рту сразу умещается штуки три или четыре. Со сметаной.

\*\*\*

Теперь в почти неживом, но еще не мертвом лесу время последних, самых дрожащих, самых прозрачных и уже не содержащих ни капли серебра паутинок, почерневших грибов, хрупких серых коричневых скрюченных листьев, так и не сумевших оторваться и улететь, ломкой, покрытой тонкими трещинами сухих березовых и осиновых веток тишины и стылости, ноющей, бесцветной и бесчувственной пустоты, которая, стоит только зазеваться, залезает к тебе внутрь, в самую середину и потом никакими силами ее оттуда не выкурить, не выпить, не выговорить и ничем не заполнить если и не до самой весны, то уж до первого снега точно.

\*\*\*

Осенние сумерки. Как ни оборачивайся назад, а прошедшего лета уже не разглядеть. Как ни вытягивай шею, а не то что весны – даже первого снега не высмотреть. Одна серая мышьяная мгла вокруг и больше ничего. Только и видно, что старую кривую сосну у дороги, которая под ветром скрипит так тонко и так жалобно, что все внутри сжимается до размеров маленькой, вроде перечной, горошины. Раскусишь ее ненароком – и окажется, что она невыносимо горькая.

\*\*\*

Первый снег... Вообще-то, все то же самое – и гипертония, и ипотека, и в понедельник рано утром на работу, и дети, которые не только не слушают советов, но уже норовят сами их дать, и сосед алкоголик, и бессонница, но поверх всего – первый снег. Ему еще месяцев пять лежать, он еще успеет почернеть и осточертеть, он завтра утром и вовсе растает, но сегодня ночью он – первый, и сосед-алкоголик, ипотека, гипертония, работа, непослушные дети и бессонница замерли под ним и боятся даже пошевелиться.

\*\*\*

Изо всех сил стараешься заснуть, пересчитываешь чертову прорву овец, множишь их, делишь и даже берешь интеграл по замкнутому овечьему контуру, наконец засыпаешь, и сразу, еще и глаза не успели до конца закрыться, тебя выталкивают на космический мороз из шлюза орбитальной станции в одном шлеме от скафандра на голое тело. Невероятным усилием воли разлепляешь уже успевшие намертво склеиться глаза и с облегчением видишь за окном покосившуюся баню, у которой хорошо бы заменить нижние венцы, скворечник, прибитый на длинной жерди к крыше бани, собачью будку с торчащим из нее черным носом, голый клен с висящей на второй сверху ветке лунной, снег, лежащий на бане, скворечнике, будке, клене и луне, красные, голубые и зеленые искры, которыми он сверкает в медовом лимонном лунном свете, черную ледяную пропасть неба с упавшими в нее пригоршнями звезд, а среди них маленький, еле заметно подмигивающий огонек орбитальной станции, из которой тебя вместе с тщательно пересчитанными овцами выгоняют на космический мороз в одном шлеме от скафандра на голое тело. Овцы им, видите ли, мешают. Блеют громко и станцию загадили. Вот и выгоняйте овец. Я-то здесь при чем?!

\*\*\*

Откроешь глаза, а за окном то ли сегодня, то ли вчера, то ли вообще прошлая суббота. Медленно кружится и падает истертое в мелкую белую пыль небо, не успевшее упасть вчера вечером и ночью. Те же синички и те же воробьи скандалят возле кормушки с семечками, и все так же нахальные воробьи одерживают верх над пугливыми синичками. На письменном столе стоит чашка с остывшим то ли вчера, то ли на прошлой неделе чаем, рядом с чашкой лежит пустая бумажка от съеденной послезавтра конфеты, на кухне... что ни начини готовить, а все равно получается овсяная каша. И в голове все ворочается и никак не может улечься упорная, сумбурная, неотвязная, смутная, нелепая и постоянно пульсирующая мысль неизвестно о чем, которую думаешь день и ночь, а все без толку – она только длиннее становится. Уже и голова для нее становится мала, уже она в трех или даже в пяти местах безнадежно запутывается, и на ней появляются узелки, уже и... только в поле, у застывшего под серым и ноздреватым льдом ручья, время еще течет. Там, где лед тонкий и полупрозрачный, видно, как оно течет из вчера в сегодня и дальше, в завтра. Если лед проломить, то можно зачерпнуть несколько вчерашних и сегодняшних, обжигающих горло, минут. До завтрашних дотянуться почти невозможно – их слишком быстро затягивает течением под лед.

\*\*\*

Можно, конечно, дома не сидеть и поехать культурно проводить время в какой-нибудь мегамолл, есть пирожные и пить карамельное латте, но лучше остаться и смотреть в окно на то, как идет снег. Посмотришь час, посмотришь второй и даже половину третьего, а потом откроешь глаза, найдешь в сети какой-нибудь старый советский телеспектакль с давно умершими актерами и позовешь жену его смотреть. Смотреть дома спектакль – это вам не просто надеть костюм, галстук, запонки, подождать два часа, пока оденется жена, и потом наступать на ноги, пробираясь к своим местам в середине третьего

ряда амфитеатра. К домашнему спектаклю надо готовиться заранее. Еще утром упротить жену напечь сдобных ватрушек, чтобы в антракте выйти на кухню, без очереди напиться с ними чаю, выпить рюмку домашнего вина из черноплодной рябины, покурить в форточку, пока не прозвенел третий звонок, вернуться в зрительный зал, надеть шерстяные носки и прогнать кота, нагло разлегшегося на кресле в первом ряду партера. К ватрушкам и домашнему вину хороши советские детективы. В старых телеспектаклях никаких погонь и трюков нет, а лишь одни неспешные разговоры, окутанные клубами табачного дыма. Время от времени где-то за сценой может прогреметь выстрел, кто-то крикнет, что-то с грохотом упадет и снова разговоры, разговоры и разговоры... Следователь всегда честен и неподкупен. Дома у расхитителя социалистической собственности всегда старинная мебель красного дерева, антикварные фарфоровые статуэтки, картины по стенам, французский коньяк с лимоном и везде разбросаны пачки из-под импортных сигарет. Интеллигент всегда с небольшой бородкой, в очках, нервный, запутавшийся, оторвавшийся от трудового коллектива... Впрочем, нет, от коллектива обычно отрывались у нас слесари, токари и шоферы автобусных парков. У интеллигентов, приемщиц стеклотары, официантов, продавцов продуктовых и ~~проститутки~~ промтоварных магазинов коллективы, конечно, были, но называть их трудовыми язык не поворачивался. Чуть не забыл – в творог для начинки ватрушек хорошо бы положить изюм и ванильный сахар. Так вот. Сосед убитого – добродушный скромный тихий бухгалтер фабрики цветных карандашей имени Сакко и Ванцетти. Ходит в полосатой шелковой пижаме и толстых очках. Вечно он или курит или сосет валидол. У него железные зубы и железное алиби. Он будет сначала свидетелем, потом подозреваемым, потом убийцей, а в самом конце окажется, что во время войны он оказался на оккупированной территории и окончил с отличием разведшколу Абвера. Там ему и вставили беспощадные к врагам рейха немецкие зубы. Найдут у убийцы в трубочке из-под валидола секретные инструкции от его новых заокеанских хозяев. И тут выяснится, что не валидол он сосал. Во втором антракте можно просто доесть остатки вчерашнего винегрета, выпить рюмку зубровки и снять шерстяные носки.

Или взять комедию из жизни провинциальной библиотечарши, которая горит на работе, а дома живет на зарплату в девяносто рублей, воспитывает бездуховную дочь, которой только и подавай новые наряды. Или производственную драму о том, как молодому изобретателю не дают дорогу старые бюрократы и председатель профкома. Добро бы еще актеры играли плохо и не было бы никакого чувства неловкости за их идиотские и насквозь фальшивые советские слова вроде «Комсомольцы на своем собрании приняли решение считать стройку ударной!» или «Мы здесь, в тайге, не ради зарплаты строим целлюлозно-бумажный комбинат! Нельзя все мерить на рубли! Мы хотим, чтобы наши потомки в своем светлом коммунистическом будущем на белой бумаге...». Так нет же! Они играют слишком хорошо, и ты начинаешь...

\*\*\*

Зимний день короток. Утром за чаем с оладьями и земляничным вареньем засмотришься в окно на то, как синички скандалят с воробьями, нахально влезшими в кормушку с семечками и... оглянуться не успеешь, как на дворе уже начинает темнеть, в хрустальном малиновом сиреневом небе нарисуеться бледная полупрозрачная луна, а на тонких ветвях березы, на голых кустах шиповника, на черных былинках пижмы и репейников повиснут крошечные сверкающие скрипичные ключики, которые, стоит только ветру подуть, начинают чуть слышно позвякивать и... ни стопки оладий, ни варенья, ни даже двух сарделек с зеленым горошком и квашеной капустой, а их, если честно, и к столу-то не подавали.

\*\*\*

Темно-оранжевое солнце, облепленное обломками сухих веточек, чешуйками сосновой коры, мягкими зелеными иголками и комьями липкого снега, садится в овраг. Белоснежная бархатная тишина становится немного розовой, немного малиновой, немного алой и такой полной, что заползает всюду – даже в карманы тулупа. В такой тишине только стихи и сочинять, думаешь ты и тут же начинаешь изобретать легкие, невесомые рифмы к морозу, к солнцу, к чудесному дню, к сосновым иголкам, к алмазной пыли, висящей в воздухе, к лыжной прогулке, к цепочкам заячьих и мышьиных следо...

На самом деле думаешь ты о том, что все люди как люди – полюбуются закатным солнцем, подумают про себя мороз и солнце день чудесный, или ель сквозь иней зеленеет, или даже маленькой елочке холодно зимой, сфотографируют умилительную белочку или дятла и скорей поедут домой к теплым печкам и ноутбукам, чтобы пить горячий чай, редактировать в фотошопе фотографии белочек и дятлов и хвастаться ими в социальных сетях, а ты как последний... будешь стоять посреди этой невозможной красоты и отгонять от головы мороз и солнце день чудесный, ель, которая зеленеет сквозь иней, белые звездочки в буране, сны, переполненные чем-то замужним как вязким вареньем, чертову маленькую елочку, которой холодно зимой и мучительно придумывать что-то, что отличалось хотя бы количеством белых звездочек в буране или сортом варенья ...

Или насочиняешь целый ворох самых разноцветных рифм, потом вычеркнешь из их списка, невесть как затесавшиеся туда два три бутерброда с копченой грудинкой и сливочным хреном, рюмку водки, селедочную икру, тарелку горячих щей из квашеной капусты, запеченную баранью ногу... посмотришь на то, что осталось, ~~и не заметишь~~ проглотить слюну, повернешь лыжи и поедешь домой так быстро, что обгонишь тех, кто едет редактировать в фотошопе фотографии белочек и дятлов.

\*\*\*

Уезжаешь на край вселенной, а потом еще идешь на лыжах иходишь в лес, а лес входит в тебя. Птицы молчат. Никто не кричит истошно: «Аня, ты где?! Смотри какой дятел!» Не слышно фур и легковых машин, день и ночь шуршащих шипованными шинами по проходящему неподалеку шоссе. Не стреляют охотники. Не слышно ничего, кроме шороха падающего с ветвей снега. И шороха тоже не слышно. Только внутренним ухом можно услышать, как где-то на противоположном от тебя краю вселенной, чуть ли не на Марсе подвывает ветру собака, как ветер поднимает в бледно-розовый углекислый воздух тучи истертого в пыль за сотни миллионов лет красного песка, как уперевшись в стенку кратера сломанным крылом солнечной батареи стоит и тихо жужжит сервомоторами марсоход, как конвульсивно дергается и не может повернуться его заднее левое колесо, как расплзается под ним по ржавой земле темное пятно от протекающего антифриза, как невообразимо далеко от него, в Пасадене, нажимает и нажимает в панике на все клавиши и щелкает всеми тумблерами оператор марсохода, не желая понимать, что его команды идут уже к мертвому...

\*\*\*

Когда едешь зимним вечером в скором поезде по искрящимся под луной бескрайним снежным полям из Москвы или Костромы в Пермь или в Казань, не говоря о Томске или Красноярске, когда за окном проплывает в необъяснимой тоске замеченная снегом платформа под названием «Зеленый дол», или «Озерки», или просто «Семьсот пятый километр», а на ней подслеповатый фонарь, а в круге неверного, жидкого света под ним краснолицые мужики с рыбацкими ящиками, раздувшиеся от китайских пуховиков бабы, дети, закутанные до состояния колобков, свернувшийся калачиком на скамейке худой облезлый медведь с порванным ухом, прижимающий к себе поломанную балалайку, расчищающая фанерной лопатой снег старуха в оранжевой куртке и огромных валенках, когда в купе тепло, когда чайная ложечка тихонько позвякивает в стакане, когда

в стакане коньяка куда больше, чем чая, когда убаюкивающе стучат колеса<sup>4</sup>, то только об одном и мечтаешь – лишь бы поезд не останавливался до самого Рима или хотя бы до Вены.

\*\*\*

Зима пахнет выпавшим ночью снегом и печным дымом, сухим морозным шампанским воздухом, от которого щиплет в носу, разогретым березовым дегтем для смоления лыж, тестом для рулета с яблочным повидлом, но не с маком – и все потому, что яблочное повидло нужно куда-то девать, а то оно уже почти захватило погреб и вот-вот выберется в дом, сладковатой книжной пылью альманаха «Искатель» сорокалетней давности с космической ракетой на обложке и рассказами Гарднера или Хайнлайна о далеких планетах и о молодых бесстрашных звездолетчиках, которыми мы тогда были, высохшими мандариновыми шкурками, забытыми в кармане мехового жилета, лыжной мазью и просмоленными лыжами, на которые нужно встать и с удовольствием, с наслаждением даже, пробежать километров десять или хотя бы пять по сверкающему снежному полю, но... лень, ломкими заледеневшими простынями, наволочками и пододеяльниками в цветочек, когда они начинают оттаивать дома в тепле и пахнуть этими цветами, мокрыми валенками и рукавицами, сушачами... тьфу, сушачими... Нет, щами из квашеной капусты, горчицей, густо намазанной на ~~ломти~~ ломоть соленого сала с чесноком, которое пахнет само по себе и которое лежит на горбушке бородинского хлеба, которая тоже умеет пахнуть и... нет, рюмкой водки зима не пахнет потому, что пахла ей вчера, а сегодня надо садиться за руль и ехать в город, чтобы завтра утром еще затемно втиснуться в переполненный вагон метро и к девяти быть на работе.

\*\*\*

Небо ярко-синее, ветки яблони черные, с ярко-рыжими, бледно-желтыми и серо-зелеными пятнами лишайников, синички такие лимонно-желтые, что во рту появляется кислинка, если долго на них смотреть. Хочется взять акварельные краски и все это нарисовать легкими, как цветочное дыхание, мазками, а в углу картины пририсовать что-то такое... сиреневое с васильковым отливом или цвета глициний с арбузом или просто голубое и бархатное, но в крошечных и мохнатых серебристых мурашках – одним словом такое мечтательное, такое тонко щекочущее или свербящее... или свербительное... такое настроение, какое бывает в середине марта, когда охота к перемене мест бывает сильнее, чем неизвестно что, чем все что угодно, когда хочется уехать, улететь и уплыть за тридевять земель в дальние страны, чтобы там лежать на берегу моря и обгорать под тропическим солнцем, или, вцепившись обеими руками в хлипкую скамеечку, сидеть на идущем по душным, влажным джунглям слоне и бояться упасть, или, скрипя песком на зубах, укачиваться до тошноты на старом, протертом до дыр туристами, верблюде, или, обливаясь потом, таскать целый день в рюкзаке неподъемного и неизвестно зачем купленного каменного скарабея или Анубиса и мечтать о весенней прохладе и о той

---

<sup>4</sup> Нет, не так они стучат, как раньше, стучали. Оказывается, стыков на нынешних рельсах куда меньше, чем полвека назад, во времена моего детства. И бетонные шпалы, в отличие от деревянных, не пахнут креозотом. И титан, в котором кипятят воду для чая, не пахнет дымом и дальними странами, а в детстве, между прочим, дальними странами пахло даже от велосипеда или от болгарских марок. И нет маленьких картонных билетов с микроскопическими дырочками, и двух кусочков сахара-рафинада в бумажной обертке, на которой был нарисован поезд, летящий через поле с колосющейся пшеницей тоже нет\*. Теперь сахар-песок набивают в бумажные трубочки безо всяких картинок. И никакой интернет в вагоне, и подвешенный к потолку купе телевизор, безостановочно показывающий комедии, и даже наклейка на зеркале двери купе «место для селфи» всего этого не заменят. Вот и выходит, что раньше не только вода была мокрее и трава зеленее, так еще и вагонные колеса стучали куда чаще.

-----  
\* Картонные билеты и обертки от сахара я собирал и хранил в квадратной жестяной коробке из-под мятного зубного порошка «Жемчуг». Коробок и порошка тоже нет. Не говоря о детстве.

приятной кислинке, которую начинаешь чувствовать во рту, если долго смотреть на лимонно-желтых синичек.

\*\*\*

...И вдруг оказывается, что можно просто стоять у окна с чашкой остывшего чая в руках и не отрываясь смотреть и полчаса и час на то, как два снегиря скачут по веткам рябины, как клюют глазурированные льдом сморщенные красно-черные ягоды, как осыпается рыхлый снег с веток, и начинаешь про себя, про снегирей и рябину понимать такое, чего раньше... ну, не то чтобы совсем понимать, а начинать понимать или даже не понимать, а только догадываться, что пришла пора, когда вид двух скачущих по веткам рябины снегирей куда интереснее, чем многое из того, на что ты смотрел не отрываясь раньше, что только теперь... Короче говоря, начинаешь про себя, про снегирей и рябину внутри себя думать умное... Кончатся эти мысли тем, что раньше и снегيري были краснее и скакали быстрее лошадей, и ягоды рябины раза в три крупнее и в пять раз слаще, и снег осыпался так, что мог засыпать совсем, а теперь только по... подумаешь, подумаешь... допьешь остывший чай и пойдешь растапливать печку.

### **Ручка с открытым пером**

Внутри своего письменного стола я залезаю редко. Он у меня, конечно, есть, и на нем стоит монитор от компьютера, лежат клавиатура и мышь на коврик. Я сижу за компьютером, вожу мышью по коврику и... все. Больше от моего письменного стола ничего мне не нужно. Время от времени я что-то в нем ищу и, не найдя нужного, выбрасываю старые счета, инструкции от давно отслуживших свое и выброшенных бытовых приборов вроде телевизора «Рекорд», лазерные диски, на которых можно было записать целых шестьсот мегабайт и даже переписать заново, расческу (ею я пользовался в последний раз лет двадцать назад), старинные, конца прошлого века, компьютерные кабели, соединяющие... Теперь уже и не вспомнить, что соединяющие. Теперь так не соединяют. Теперь и вообще соединяют вовсе не то, что соединяли раньше.

Впрочем, в ящиках есть вещи, которые я, наверное, не выброшу никогда. Взять, к примеру, курительную трубку, которую я не курю уже лет восемь, а она все еще немного пахнет датским трубочным табаком Mac Varen. Тут бы конечно рассказать какую-нибудь красивую историю, связанную с этой трубкой, вроде тех, которые рассказывал Эренбург в своих «Тринадцати трубках», но такой истории у меня нет. Трубку я стал курить лет двадцать назад, чтобы меньше курить сигарет, а сигареты стал курить еще студентом, для того, чтобы казаться окружающим и самому себе глубокомысленнее, солиднее, нравиться девушкам и... Для того, чтобы нравиться девушкам, я еще и стихи начал писать. От вредной привычки курить через тридцать с лишним лет я все же смог избавиться, а вот со стихами все наоборот – не я бросил их писать, а они меня бросили и теперь пишутся у кого-нибудь еще.

Подставка для чтения бумажных книг, которых я теперь почти и не читаю. Все или почти все бумажные книги мне заменил планшет. Привезенную из Торжка, вышитую золотыми нитками по синему бархату книжную закладку он тоже заменил. Не то чтобы я скучал по бумажным книгам и бархатным закладкам, но... Хотя и говорю всем, что электронные книги куда удобнее бумажных. Они и правда удобнее – ничего не весят, в моем планшете их больше сотни, их даже листать можно как бумажные – с бумажным шорохом, который генерирует какая-то специальная программа, но шорох этот мне напоминает вкус ячменного кофе, который вместо настоящего пила моя бабушка, когда ей врачи запретили пить настоящий. Или так, как электронные письма напоминают настоящие – те, которые приходили в бумажных конвертах, с наклеенными марками. Я эти марки потом отпаривал и держал в специальном альбоме для марок. Как раз в том же



ящике, что и подставка для книг, лежит конверт с письмом одной старушки из деревни Бабаево Угличского района. Ехали мы как-то раз с женой из Углича и подобрали ее на остановке. Старушка, которой было уже за восемьдесят, возвращалась из городской поликлиники к себе домой, в полузаброшенную деревню. Там кроме нее жило еще человек шесть – таких же стариков и старух. Летом жителей прибавлялось за счет дачников, а зимой... Она в этой деревне почти всю жизнь прожила. Ни семьи, ни детей у нее не было, и когда ей предложили переехать в дом престарелых в Угличе – согласилась не раздумывая. Недолго она там находилась – чуть больше года. Не понравилось ей. То есть ей бы понравилось, кабы любила она пить водку и с такими же, как она, стариками черт знает чем занима... Даже и сказать вслух неприлично. Она была верующей старушкой строгих нравов, и водки, особенно вместе с черт знает чем и черт знает с кем, мягко говоря, не любила. Даже терпеть не могла. Потому в одно прекрасное утро собрала свои нехитрые пожитки, села на попутку и вернулась в свое полузаброшенное Бабаево. Вернуться ее никто не уговаривал. Подвезли мы ее, а сами поехали домой, в Москву. Стал я дома выгружать вещи и нашел на полу машины вставную челюсть нашей попутчицы. Уж как она ее выронила... Скорее всего, была эта челюсть у нее запасной, поскольку разговаривала она с нами не так, как говорит человек без зубов. Справедливо рассудив, что в деревне Бабаево угличского района живут всего семь человек и почтальон, который приходит к ним с пенсией, письмами и газетами, знает всех, а у почтового отделения, к которому он приписан, есть телефон, а номер телефона можно найти в сети... Оказалось, что это была не просто запасная, а почти новая челюсть, которую наша старушка берегла на похороны. Носить ее было не очень удобно, поскольку в Угличе стоматологи... Нет, они, может, и хорошие, но эта челюсть им не удалась. Возила ее старушка подпиливать и потому держала в кармане. Для этой жизни у нее была другая, не самая красивая, но к ней она уже притерпелась, а для той жизни ей хотелось новую, в которой не стыдно будет и в гробу лежать. Не стыдно перед теми шестью стариками и старухами, которые останутся после нее в деревне Бабаево.

Рядом с письмом лежит чудом сохранившийся старый деревянный пенал. Ему уже за пятьдесят. Самый обычный советский школьный пенал из многослойной фанеры. У моего соседа по парте Костика пенал был пластмассовый, красный. На внутренней стороне его крышки был циферблат, по которому можно было двигать стрелки пальцем, и крошечные счеты с белыми и черными колесиками. Костик все время хвастался своим пеналом. Мало того, он еще и все время сравнивал свой пенал с моим, и на фоне его пенала мой пенал, да и я сам... Короче говоря, однажды я не выдержал и треснул его по голове своим простым деревянным пеналом. Не изо всех сил, а только чтобы он замолчал. Костик же ударил меня своим так сильно, что его пенал треснул в самом прямом смысле этого слова, а белые и черные колесики счет разлетелись по полу. Девочка Валя, в которую я был тайно влюблен, засмеялась, а Костик заплакал и пошел рассказывать нашей классной руководительнице Елене Владимировне, что из-за меня и моей дурацкой головы он лишился пенала. Я бы, может, тоже заплакал и ударил бы Костьку своим пеналом еще раз, но... девочка Валя засмеялась. У нее была толстая, пшеничного цвета коса, и она сама была такая пухлая и такая пшеничная... Не мог я заплакать. Не мог и все.

Пенал изрисован еще чернильной ручкой. Я почти не застал чернильниц в первом классе – началась эпоха авторучек. Тех, которые с открытым или закрытым пером, с поршнем или попроче, с пипеткой. У меня была простая – с открытым пером и пипеткой. Копеек шестьдесят она, кажется, стоила. Черт меня дернул положить ее в карман форменных брюк и бегать на перемене до упаду. Тут это чудо техники и сломалось. Чернила, натурально, вылились в карман и далее везде. Дома я штаны снял и пятно пытался замыть. Размазал. По трусам и вообще... по частям тела – по ноге и по разному... Разное ну никак не отмывалось. Чернила в нашем детстве были какой-то особенной стойкости. Сейчас таких ни за какие деньги не купишь. В разгар моих помывочных усилий в ванную комнату зашел папа. Посмотрел на меня, на уже светло-фиолетовое

разное, и спросил, чем я в школе сегодня писал. Любят родители задавать дурацкие вопросы детям.

Внутри пенала лежит шариковая авторучка в виде большого хромированного гвоздя. Такие гвозди делали на папином заводе умельцы. У моего соседа по парте была ручка в виде отбойного молотка, и я ему страшно завидовал. Его папа был токарем и мог выточить все, что хочешь, а мой папа был заведующим центральной заводской лабораторией, токарного станка у него не было, и поэтому мне пришлось выменять пишущий гвоздь на значок с ракетным крейсером. На заводе наших пап делали радиолокационные антенны для этого крейсера, и моему папе кто-то из моряков подарил такой значок. Кстати, о заводе. Неподалеку от него была свалка, куда всегда выбрасывали бракованные радиодетали, испорченные печатные платы и толстые электрические жгуты, сплетенные из десятков тонких разноцветных проводков. Девочки из этих проволочек плели разноцветные браслеты и колечки. Одна девочка сплела мне колечко из зеленого провода. Это была не Валя. Если бы я мог вспомнить кто...

Набор плакатных перьев, которым я не пользовался с пятого класса средней школы. С тех самых пор, как был редактором нашей классной стенгазеты. Перья уже и ржаветь понемногу начали. Еще видны на них разноцветные следы засохшей гуаши. Такими перьями мы писали заголовки: «Они тянут наш класс назад» или «Равнение на правофланговых» или «Навстречу Октябрю»... нет, не просто «Октябрю», а «Великому». Такие слова писали большими и толстыми красными буквами без завитушек. Зато заголовки к новогодней стенгазете можно было писать буквами любого цвета с любыми завитушками. После того как гуашь на буквах высыхала, брали елочный шарик, разбивали его на мелкие сверкающие осколки и посыпали ими буквы, которые предварительно мазали прозрачным канцелярским клеем. Получалось нарядно и празднично.

Вот лежит в углу ящика под ворохом пожелтевших поздравительных открыток старая черно-белая фотография, где мы с папой на демонстрации. Судя по голым веткам – седьмое ноября. Почему-то об этом дне остались только дошкольные воспоминания. Мама-милиционер уходила рано, чтобы быть «в усилении», охранять общественное спокойствие в этот праздничный день. А мы с папой к половине девятого выдвигались к проходной его завода. У проходной уже кучковался народ. Ветеранам труда выдавали красные нагрудные ленты, на которых золотыми буквами было написано «Ветеран труда». Им предстояло идти в голове колонны. Всем остальным вручали красные банты, флаги, портреты вождей и огромные, через всю колонну транспаранты, которые несли два человека. Банты, маленькие детские красные флажки и воздушные шарики вручались легко, а вот портреты, флаги и транспаранты... Народ тщательно обходил грузовик с открытыми бортами, на котором были свалены предметы тогдашнего нашего культа. Некоторые вообще прятались по углам, чтобы в последний момент пристроиться в хвост колонне и первыми ее покинуть. Представители профкома, парткома, месткома и дирекции завода шли на разные хитрости. Применяли индивидуальный подход. В нашем с папой случае индивидуальный подход состоял в следующем: кто-то из профкома, месткома или парткома подзывал ребенка, то есть меня, для вручения флажка, шариков и банта. Я, естественно, радостно бежал получать. И в конце вручения дядя из парткома, профкома или месткома тихонько шептал мне на ухо, доставая из-за спины портрет на палочке, или транспарант: «Мишка, пойдешь, отдай папе. Вместе понесете». Папа свирепел. Требовал оставить ребенка в покое. Представители администрации смеялись. Взывали к папиной сознательности. Печально разводили руками и говорили отцу: «Борь, ну ты ж сам видишь, сколько этой... ну, то есть наглядной агитации надо еще раздать. Не лезь в бутылку». Папа не лез. Он вообще не пил. Поэтому праздник переносил тяжелее, чем те, которые уже с утра в нее залезали и там отсиживались до такого состояния, что не могли вылезти без посторонней помощи. Однако вернемся к флагам и портретам. Однажды нам с папой вручили немаленький флаг. Папа его мужественно нес, пока я не устал. Мне тогда было лет пять или шесть, и всю дорогу – от завода до трибун на центральной площади

Серпухова – я осилить не мог. Тащить флаг и меня папе не хотелось. Недолго думая, папа выбрал меня. А флаг он собрался потихоньку бросить в придорожные кусты и со мной подмышкой исчезнуть в ближайшей подворотне. Такой у него был нехитрый план. Но бросить флаг я не дал. Вцепился в древко и не отпускал, норовя зареветь.... Короче говоря, домой мы явились под красным флагом. По телевизору показывали колонны демонстрантов, идущих по Красной площади. Я пару раз прошелся по комнате с флагом, держа равнение на мавзолей, но задел люстру и был наказан. Потом мы вместе с флагом постояли некоторое время в углу, потом он, уже без меня, стоял в углу и пылился. Потом... мама отодрала от него полотнище, а папа укоротил древко и приделал щетку, чтобы мести полы. Она служила нам несколько лет, пока совсем не облысела.

Еще есть пустая картонная папка с одной тесемкой, еще папин отрывной блокнот участника заводской профсоюзной конференции, в котором я рисовал танки, корабли и одну девочку за то, что она обзывалась словами (я их очень маленькими буквами написал возле ее рта, но влетело мне за них как за большие), еще несколько пожелтевших оттисков моей статьи в журнал «Биоорганическая химия», еще... прошедшее время, которому нет места даже в настоящем, не говоря о будущем. Его потом, конечно, сгребут в большой пластиковый мешок и выбросят в мусорный контейнер, но пока оно еще со мной. Или я с ним. Время от времени.